ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

Серая, какая-то вся общипанная гусыня около месяца до самого весеннего тепла сидела под дедовской кроватью в кошелке на яйцах, сидела, парила и напарила – вылупились, почти все разом, такие же общипанные, как и их мамашка, страшненькие гусята. Всю эту живую кучку вместе с гусыней перетащили на солому в старую баню, и семья зажила своей жизнью. Гусак убегал от другой семьи, чтобы навестить своих выкормышей, строжился над ними, что-то командно кричал, но в воспитании не участвовал. В общем, жизнь шла своим чередом, шла в такой суматохе, что никто и не заметил, как придавили одного из маленьких птенцов. Он покричал-покричал да и перестал – всё равно никто внимания не обращает. Но после этого стал он каким-то вялым и отставал в развитии; мало того, стало заметно, что шея у него клонится как-то набок: похоже, маманя нечаянно наступила на него и сдвинула шейный позвонок. И все бы ничего, но, подрастая, стал он ни с того ни с сего заваливаться на спину и лежа дрыгать оранжевыми ножками, а перекатиться, чтобы потом самостоятельно встать, он никак не мог. Когда это стало повторяться и поняли, что гусенок – инвалид и нуждается в человеческой помощи, то прозвали гусенка Игнатом Ивановичем – уж больно он был похож проявлением своей болезни на того Игната Ивановича, что жил с нами по соседству и которому мы, ребятишки, частенько помогали встать с земли на ноги, когда он вдруг внезапно у всех на глазах падал на землю – это было у него с войны, после контузии. Так два живых существа оказались связанными одной судьбой – оба были больными-инвалидами.

Когда гусёнок немного подрос, его падения стали редкими, но он не успевал за подвижными сородичами, а потому нам частенько приходилось искать его. Со временем стая всё чаще и чаще возвращалась домой без него; но он был упрямым и тянулся за ней из последних силёнок. Мы приучили его сидеть дома. Он возмущался, но постепенно свыкся с новым своим положением. Ночевал он со своими, а утром провожал стаю своим особым криком, чем тревожил всех. Но гусак с гусыней быстро уводили за собой со двора «детвору», как от ревущего капризного ребёнка. Зато вечером, когда стая возвращалась домой, все от мала до велика бросались к нему навстречу и клювами целовались с ним и терлись своими шеями об его кривошею. И столько было в том нежности, что даже внешне суровый гусак, предводитель стаи, почему-то в эти моменты выражал свою любовь не к своему детёнышу, а к гусыне-мамашке: он крутился вокруг неё и своим клювом мягко щипал ей шею.

Болезнь же давала о себе знать хоть и редко, но метко: бывало, гусёнок подолгу, почти бездыханный, лежал на спине, и нам ничего не оставалось, как отпаивать его самогонкой (бутылка всегда стояла на летней кухне) – так же, как бабушка отпаивала маленьких больных поросят, так и мы боролись за жизнь гусёнка: насильно раздвигали ему клюв и вливали ложку, а то и две хмельного питья. Гусенок быстро оклёмывался и когда начинал дрыгаться в руках, его отпускали, и он носился по двору как угорелый.

Когда Игнат Иванович оперился, то стал даже красивым: серо-синий окрас туловища, на короткой, немного кривой, совсем белой шее – головка с коротким и сплюснутым с боков клювом, таким же оранжевым, как и его лапки. Он стал домашним любимцем. Когда мы все уезжали из дома на покос или на рыбалку, гусёнок оставался во дворе за главного. Дед по-человечески разговаривал с ним, давал наказы, а тот, еще больше свернув свою шею на бок, слушал его. Он да пес Мальчик на цепи считались главными сторожами. И если вдруг чужие поросята пытались пробраться во двор, своими пятаками поддевая крепкую входную калитку, то первым у ворот грозным гусиным гоготаньем встречал их Игнат Иванович, а Мальчик затем своим лаем уж окончательно отгонял непрошеных гостей от ограды.

Интересные были у Игната Ивановича отношения с псом Мальчиком: бывало, в обеденный перерыв Мальчик, распластавшись, дремлет у своей конуры, а не такой уж легкий молодой гусак, забравшись на пса, посиживал на нём с гордым видом, как бы показывая всем их короткие отношения. Похоже, не тепла он искал в общении с псом, а дружбы; раз жизнь разлучала его на день со своими братьями и сестрами, то дружбу приходилось искать на стороне. Что не нравилось ему в Мальчике и от чего гусёнок усердно тряс своей головой, словно оглушенный, так это то, что уж больно громко Мальчик лаял – хоть уши затыкай. Это надо было видеть: гусёнок, как у себя в перьях своим клювом выискивал мелких вредных тварей, так и у Мальчика, возясь клювом в шерсти и прищелкивая, осуществлял санитарно-гигиенические мероприятия в плане профилактики собачьих болезней. И никак не мог понять он одного: почему Мальчик никогда не делится с ним едой, а все рычит и клацает клыками.

Один раз, когда мы на телеге подъезжали с пашни к нашему дому, то еще издали наблюдали такую картину: пес Мальчик непонятно как сумел заскочить на срез столба, вкопанного у калитки во двор, и, как кошка, свернувшись в клубок, примостился на этом столбе, а у подножия столба томился в ожидании хозяев Игнат Иванович. Завидев нас, один приветливо залаял с высоты, а другой загоготал на земле.

Надо было видеть, как по-детски шалит молодой гусь, когда дед сидит на крыльце дома и смолит сигарету. Молодой гусак ходит, как говорится, вокруг да около и задирается на деда, вытягивая шею и шипя, как взрослый гусь, и пытаясь ущипнуть деда за брючину. Дед в ответ делает пугающее движение в сторону забияки, и Игнат Иванович, расщеперив крылья, отскакивает с восторгом и как ребенок смеётся от удовольствия, что его не поймали на проказе, а потом, поспешно удаляясь, азартно и нахально гогочет, подзадоривая деда, – что же он, увалень, не может догнать его!.. Деда он любил, у него даже походка была чем-то схожей с дедовской, особенно, когда ходили они копать хрен для окрошки или червей на рыбалку; он и на рыбалку за дедом пошел бы, но «падучая» могла и там бы его настигнуть.

И так же, как дед, Игнат Иванович считал себя хозяином во дворе. Он разгонял драчливых петухов и участвовал в разборках: когда шебушились на дворе гуси и утки, постоянно деля между собой территорию, то он невозмутимо ложился на границе между противостоящими стаями и междоусобица постепенно затихала. Если же во время кормёжки поросята сильно брызгались в корыте, громче обычного чавкали и баловались, то он, усмотрев в этом непорядок, их усмирял: щипал клювом их в пятаки и за уши, и иногда они его слушались и угомонялись ненадолго.

В недругах у него числились вредная корова Зорька да бодастый бычок Кузя. Игнат Иванович считал их глупыми и невоспитанными, так как они не подчинялись никаким правилам и не признавали под своими копытами никакой мельтешащей твари в виде птицы, – им бы все жевать и бессмысленно мычать, короче, бычились они, как говорила бабушка. При встрече с ними Игнат Иванович обречённо отходил в сторону.

С бабушкой же он был уважительным, внимательным, достойно принимал от неё понукания и старался во всём угодить.

Нашим с ним коронным номером был такой фокус: я клал в отсутствии Игната Ивановича в карман своих брюк корочку хлеба, а потом на людях жестом просил его определить, в каком кармане находится хлеб, при этом рукой я незаметно для других показывал ему, в какой карман надо залезть клювом. Он понимал мой жест, и у нас получалось классно! Наслаждались мы, ребятишки (кто старше, кто моложе), ещё и тем, когда гусак в гневе кусал покрышки своего неприятеля-мотоцикла, который не любил за трескучий звук, – тут уж мы хохотали до колик в животе.

Так же он (да и Мальчик тоже) не любил нашу соседку, совсем старенькую бабку Свиридиху. Не любил он её за проклятый костыль, которым она постоянно замахивалась, и из-за которого однажды пострадал Мальчик. Он от злости на этот костыль взял и цапнул его хозяйку за ногу (вряд ли перепутал с костылём), а потом такие серьезные последствия были: выстригали у Мальчика клок шерсти и им каким-то старым способом (чуть ли не колдовством) лечили бабкину рану. Мальчик по-прежнему продолжал, сидя на цепи, на неё лаять, а Игнат Иванович теперь принципиально не связывался с ней, но при встрече, обходя её стороной, всё равно продолжал шипеть на бабку и её проклятый костыль.

В один из теплых осенних дней, когда уже на полях, что находились на горе, за нашими огородами, убрали пшеницу, я видел, как члены стаи под предводительством нашего гусака карабкались в крутую гору на своих коротких лапках, а забравшись на верхотуру (я тоже потом поднялся) взялись за подбор неубранных колосков, как будто им дома голодно было и дроблёнки не хватало. Когда я, вернувшись, рассказал об этом деду, то он, щурясь от ярких лучей солнца, лыбясь, проговорил:

– Щас набьют пузяки и полетят.

– Куда полетят? – недоуменно поспрошал я.

– Куда, куда... Ясно куда, в реку. Жди, красиво лететь будут. Обучаться молодняк будет полету, это от диких гусей у них осталось.

– А они совсем не улетят?

– Ты чё, куда они без нас. У нас с ними семья...

И после полудня они вздумали лететь. Как только послышался на горе крик еще не взлетевших гусей, так закричал во дворе и Игнат Иванович. Полет стаи с горы над нашей усадьбой на реку, где птицы кормились и выросли, был красив и шумен. Ещё когда молодняк, набравшись храбрости, под контролем взрослых, с большого разбега и под беспорядочное гоготание, словно оно давало им силы, только усилено взмахивал крыльями, а потом стал медленно набирать высоту, наш Игнат Иванович, развернув, как меха у гармошки, свои крылья, вдруг превратился в статного молодого лебедя и, разогнавшись по площадке нашего двора, каким-то чудом перелетел через деревянную ограду, невысоко, но все же поднялся над землей и, сам того, наверное, не ведая, под наши удивлённые взгляды полетел... Полетел, что-то испугано гогоча в сторону реки, где по глади воды били своими крыльями уже приводнившиеся гуси его родной стаи. Мы с дедом, бабушкой и Мальчиком завороженно смотрели на полёт нашего Игната, и тут я случайно у деда в глазу увидел блеснувшую солнечным зайчиком слезинку. А с реки доносилось до нас, как стая шумно садилась на воду; туда же, хоть и летя на малой высоте, к своей семье, изо всех сил маша крыльями, стремился и наш гусак Игнат Иванович...

На следующий день я уехал домой, в «свои университеты», как говорила бабушка. А на Рождество, снова прибыв в деревню, узнал печальную новость: перед самым Новым годом скоропостижно от своей «лихоманки» во время очередного затянувшегося приступа скончался сосед наш Игнат Иванович...

Тогда же, за праздничным столом, я спросил у деда и о судьбе гусака Игната Иваныча. Он лишь, посмотрев на тарелку с жареным гусём, молча поднял рюмку:

– За упокой души обоих Игнатов, – дед явно хотел замять этот разговор. – Пусть земля им будет пухом.

Чуть позже, тут же, сидя за столом, дед, видя на лице моём совсем непраздничную задумчивость, сам рассказал о том, о чём я хотел его спросить:

– Затоптал его бык в загоне по первому морозцу. Пошел Иваныч наш погреться в гусятник и на тебе – под копыто зловредного Кузи попал, не повезло ему в этот раз – сразу насмерть его бычок придавил. И похоронен он в земле-матушке, так что не брезгуй, ешь гуся, не Игнат это. Ты что, у меня у самого бы рука не поднялась на него. Хорош был гусь, – и как-то дед криво улыбнулся, – и этот неплох.

Он взял со стола жирный кусок гусятины и стал аппетитно закусывать им очередную, только что выпитую, рюмку бабушкиной самогонки.

Гуся я есть не стал и пошел кормить Мальчика супом с оставшимися от обеда гусиными косточками. Он, конечно, ничего не понимал и с аппетитом уплетал, нет-нет да отрываясь от вкусной похлёбки и поглядывая на меня, словно говорил: «Ты что грустишь, дружок? Видишь – жизнь какая ныне сытная. Хорошего в жизни так мало, что успевай, пользуйся этими мгновеньями».

У меня же перед глазами стоял тот, осенний, высокий, полет с горы стаи домашних гусей. И полет нашего гуся Игната Иваныча – к стае, к своей семье...